

В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной

трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, – которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, – гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст камень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощью европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, – и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем изменении государственных форм, – был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила

громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше – он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внося новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, – и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуюсь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого

натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть вместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали вместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже завопил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех пририцах стали выказываться русские таланты, – с битвами вознеслись полководцы, с учреждениями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые, – появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о

сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновенья, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете,— что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали. О Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы; словом — все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным

предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было – начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непоколебимом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурей,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подымается волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрипит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образования, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управлять себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как шеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, кото-

рыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожей на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотоле неизвестная. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнем. Вдруг заметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот

поэт – Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, – почти всё переводы. Но на переводах так отпечталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его, – переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё – вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – не предстанет перед глазами твоими ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность – это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнако-

мое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, – лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатление сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это – свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, – тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска – точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического создания есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приготавливалось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное

во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногословлив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразило вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака – везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке – все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога, – его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» – и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они – отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они – полные поэмы обдуманые, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, – что такое

поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, благодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сам самым наукообразным стремлением своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящийся отклика. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? – это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда

метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и не прибранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделявал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные создания. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу – и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпитграмм, картинных идиллий, и, по прочтенье ее, вместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» – тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замыслил он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и принял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею

сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта, – и удивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручи-

чик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа – «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас – и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечи, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как златок вин, присматриваясь к цвету и обоня самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотолем не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и

сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, прелогатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбуждательного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже,— повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И – бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наядя!

Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо-русского игрою. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо – кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Всё, что вызывает в юноше отвагу, – море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремьнй вера в будущее, готовность ратовать за отчизну, – выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»? их бы следовало назвать просто: «хмель!»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин нико-

гда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощною, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование,— предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождалось. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздалась скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не заметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздалась нелепо в журналах, но в основание их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
У него, напротив, вот что говорит поэт:
Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово –
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержания последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) – нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его – вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей, – и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово:образишь нам

ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни – на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях – и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясение», которое, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противоположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из

него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни – словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении вышем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвываясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скры-

вашую. Этот поэт – Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку, – и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительно больше пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек – словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уважение к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» – даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился

у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чиновничеством, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысли того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом – всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части
Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.

Какая меткость определения! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недалезорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просят не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться.

Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведения. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведению, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре – что в море, а в дураке – что в пресном молоке», – говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие замечки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою,–

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестями не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображения природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймашь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак

не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключение басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии – поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страдает душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отделились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с умением пред чем-нибудь истинно возблагодарить – свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого, – оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно,

всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова – «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уважением; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещения.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, – так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи

сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, – полное притупление всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что нанести им оскорбление – сделалось ему уже наслаждением. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества – выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей вместо главного, – словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их

светском *comme il faut*, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим – тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще – тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью – тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодование молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумлению, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставлением ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, поняв-

ший службу единственно в умение различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколения, с требованиями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбрать вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапченок, мосек и людей вроде Молчалина, – словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин – тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окариковал какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы – дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание,

взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае – то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так четко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре, – это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не против одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданы художественные и не принадлежат фантазий сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится. Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накапливается вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и

показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленью захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть и пропасть, – он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотвореньи, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определенности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от

самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолобно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду – излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначение, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в пору самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, – и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключение, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влияние на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества – картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием – под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянь-

ем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, – чего не случалось еще доселе ни с одним народом, – воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существовании среди его поэта. Словом – поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время выше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурой. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиной первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенной всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодования благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильнее всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в

том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она сокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться гобой, что еще нужно нам самим прежде организовать, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого поведена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы,— если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем,— то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся

и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию¹, не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье *уха*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* – всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, – одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выра-

¹ Маркиз Кюстин (*примеч. Н. В. Гоголя*).

женьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума – он у нас пользуется уважением всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, – которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого – все позабыто, и вся Россия – один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, – все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают

и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настроит душу к слышанию чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколение поэтов; нельзя служить и самому искусству, – как ни прекрасно это служение, – не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, – христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомним они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой верху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка – этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие

выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех исков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот не обыкновенный лиризм – рождение верховной трезвости ума, – который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, – язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей – дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, – не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святынню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, ка-

ких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приятно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

Примечания

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)

Несколько слов о Пушкине

Впервые – в книге «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» в 1835 г.

По справедливости ли оценены последние его поэмы? – Ю. В. Манн считает, что речь идет о «Домике в Коломне» (1830), а также сказках.

Источник текста: Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. / Н. В. Гоголь; [сост., примеч. и ред. С. И. Машинского, М. Б. Храпченко]. – М. : Худож. лит., 1978. – Т. 6: Статьи. – С. 63–68.

Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

Впервые – в составе книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) как глава XVIII.

В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого... – Ф. В. Булгарин (1789–1859) в журнале «Северная пчела» (1842) отозвался о романе «Мертвые души» как о пределе безвкусыя и собрании «грязных картин». О. И. Сенковский (1800–1858) откликнулся на выход роман Гоголя резкой рецензией в журнале «Библиотека для чтения» (1842). Н. А. Полевой (1796–1846) в журнале «Русский вестник» упрекал автора «Мертвых душ» в погрешностях против логики и русской грамматики.

Источник текста: Там же. С. 240–253.

В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность

Впервые – в составе книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) как глава XXXI.

Божественный пророк Давид... – цитата из оды М. В. Ломоносова «Ее Императорскому Величеству... Императрице Елисавете Петровне на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны... декабря 18 дня 1757 года».

Встает в упор ее волнам... – цитата из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797).

И смерть как гостью ожидает... – цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Аристиппова баня» (1811).

«Деревенский домик в Обуховке» – имеется в виду элегия В. В. Капниста «Обуховка» (1818).

Под надзирание ты предан... – из стихотворения Г. Р. Державина «Победителю» (1785).

... *«Отчет о солнце»... «Отчет о Луне»* – имеются в виду стихотворения В. Жуковского «Летний вечер» (1818), «Государыне Императрице Марии Федоров-

- не. Первый отчет о луне, в июне 1819 года», «Подробный отчет о луне, представленный Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске».
- Его «Славянка» с видами Павловска...* – речь идет об элегии В. Жуковского «Славянка» (1815), где описана река Славянка, протекающая в Павловске, близ Петербурга.
- ...к передаче совершеннейшего поэтического произведения...* – имеется в виду перевод «Одиссеи» Гомера.
- Далекый, возделенный берег!* – цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829).
- ...терцины Данта внушили ему мысль...* – имеется в виду стихотворение Пушкина «В начале жизни школу помню я...».
- «Царский арап»* – имеется в виду «Арап Петра Великого» (1827).
- ...в изданном уже по смерти его стихотворенье...* – стихотворение Пушкина «Странник».
- Козлов, гармонический поэт...* – Иван Иванович Козлов (1779–1840).
- Стоит назвать обоих Туманских...* – поэты Василий Иванович Туманский (1800–1860) и Федор Антонович Туманский (1801–1853), двоюродные братья.
- ...перелататель псалмов Ф. Глинка...* – Федор Николаевич Глинка (1786–1829) – автор «Духовных стихотворений» (1826).
- Покровы прочь! Перед челом...* – из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826).
- Тяжкий гвоздь стойком и плотно...* – из стихотворения Н. М. Языкова «К А. Н. Вульффу» (1828).
- Чу! Труба подребезжала!..* – цитата из послания Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову».
- Когда тебе на подвиг все готово...* – из стихотворения Н. М. Языкова «Поэту» (1831).
- В его книге «Биография Фонвизина»...* – отдельное издание книги «Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского» вышло в 1848 году, отрывки из нее печатались в периодических изданиях того времени.
- Душа прямится, крепнет воля...* – из стихотворения Н. Языкова «К Вульффу, Тютчеву и Шепелеву» (1826).
- ...в басне «Стоячий пруд»...* – речь идет о басне И. А. Крылова «Пруд и река» (1814).
- Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый...* – реминисценция из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1811).
- ...у князя Долгорукого...* – имеется в виду поэт и драматург Иван Михайлович Долгорукий (1764–1823).
- ...пародии князя Горчакова...* – речь идет о поэте и драматурге Дмитрие Петровиче Горчакове (1758–1824).
- ...один из них, издавший свои записки...* – подразумевается книга маркиза Астольфа де Кюстина (1790–1857) «Россия в 1839», которая была запрещена в России.
- Источник текста: Там же. С. 321–360.

Вопросы и задания

1. Какие проблемы литературы волновали Гоголя-критика?
2. К каким категориям обращается Н. В. Гоголь, доказывая национальный характер художественных творений А. С. Пушкина?
3. На какие причины указывает Гоголь, объясняя отсутствие успеха таких произведений Пушкина, как драма «Борис Годунов» и поэм второй половины 20-х – начала 30-х годов XIX века?
4. В чем видит смысл критических суждений в адрес своих произведений Гоголь? Сформулируйте основное требование писателя к критике, исходя из прочтения «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ».
5. Какие особенности поэмы «Мертвые души», по мнению Гоголя, заслуживают негативной оценки?
6. Каким значением наделяет Гоголь писательское ремесло в России?
7. Что считает Гоголь отличительным свойством своего литературного таланта?
8. В каких отношениях, по мнению Гоголя, находится писатель с героями своих книг? Вспомните, чье понимание родственно утверждению Гоголя.
9. Какие критерии избирает Гоголь для оценки отечественной литературы в письме «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»?
10. Перечислите события, которые Гоголь выделяет как веховые в истории развития русской литературы.
11. К какому аргументу прибегает Гоголь, доказывая оригинальность творчества В. А. Жуковского?
12. Кто из русских авторов, по мнению критика, явил собою образец поэта? В чем видит Гоголь сущность поэтического таланта?
13. В какое отношение к предшествующим и последующим поэтам ставит творчество Пушкина Гоголь?
14. Какая особенность поэзии Баратынского и Лермонтова определяет ее невысокую оценку в критике Гоголя?
15. Какие из литературно-критических оценок Гоголя русских писателей, на ваш взгляд, стали хрестоматийными, а какие, наоборот, предстают неожиданными?
16. Какой путь намечает автор для плодотворного развития русской литературы?
17. Как жанровые особенности книги «Выбранные места из переписки с друзьями» связаны с пафосом литературно-критических высказываний Гоголя?